



А Н Р И

БЕРГСОН

ТВОРЧЕСКАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Анри Бергсон

Творческая эволюция

Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69324970
Бергсон, Анри. Творческая эволюция: АСТ; Москва; 2023
ISBN 978-5-17-155172-8*

Аннотация

Анри Бергсон (1859–1941) – французский философ, профессор Коллеж де Франс, член Французской академии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1927 года.

Какое место в творческой эволюции занимает интуиция? Как определить ее и понять, как она работает? Возможно ли научиться управлять ею? Что есть эволюция жизни и какое место в ней занимает интеллект, а какое принадлежит творчеству?

Анри Бергсон в своей работе «Творческая эволюция», впервые изданной в 1907 году, нашел немало закономерностей в эволюционном процессе – постоянное развитие, изменение, творчество, непредсказуемость. Этот процесс постигаем лишь интуитивно, а вершиной творческой эволюции является человек, наделенный высшими духовными способностями.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Содержание

Введение	5
Глава первая. Об эволюции жизни – механицизм и целесообразность	14
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Анри Бергсон

Творческая эволюция

© ООО «Издательство АСТ», 2023

*** * ***

Введение

Сколь бы фрагментарной ни была до сих пор история эволюции жизни, она уже позволяет нам понять, как в процессе непрерывного развития на линии, восходящей через ряд позвоночных к человеку, возник интеллект. Она показывает нам, что способность понимания дополняет способность к действию, представляя собой все более точное, все более гибкое и усложняющееся приспособление сознания живых существ к данным условиям существования. Этим определено назначение нашего интеллекта в узком смысле слова: он обеспечивает полное включение нашего тела в окружающую среду, создает представления об отношениях внешних друг другу вещей, – словом, он мыслит материю. Таким и будет, действительно, один из выводов настоящей работы. Мы увидим, что человеческий интеллект чувствует себя привольно, пока он имеет дело с неподвижными предметами, в частности с твердыми телами, в которых наши действия находят себе точку опоры, а наш труд – свои орудия; что наши понятия сформировались по их образцу и наша логика есть, по преимуществу, логика твердых тел. Благодаря этому наш интеллект одерживает блистательные победы в области геометрии, где проявляется родство логической мысли с инертной материей и где интеллект, слегка соприкоснувшись с опытом, должен лишь следовать своему естественному движе-

нию, чтобы идти от открытия к открытию с уверенностью, что опыт сопровождает его и неизменно будет служить ему подтверждением.

Но отсюда также следует, что наша мысль в ее чисто логической форме не способна представить себе истинную природу жизни, глубокое значение эволюционного движения. Созданная жизнью в определенных условиях для действия на определенные вещи, может ли она охватить всю жизнь, будучи лишь одной ее эманацией, одной ее стороной? Принесенная эволюционным движением, может ли она прилагаться к самому этому движению? Это было бы равносильно утверждению, что часть равна целому, что следствие может вобрать в себя свою причину или что галька, выброшенная на берег, воспроизводит форму принесшей ее волны. На деле мы чувствуем, что ни одна из категорий нашей мысли — единство, множественность, механическая причинность, разумная целесообразность и т. д. — не может быть в точности приложена к явлениям жизни: кто скажет, где начинается и где кончается индивидуальность, представляет ли живое существо единство или множественность, клетки ли соединяются в организм или организм распадается на клетки? Тщетно пытаемся мы втиснуть живое в те или иные рамки. Все рамки разрываются: они слишком узки, а главное, слишком неподатливы для того, что мы желали бы в них вложить. Наше рассуждение, столь уверенное в себе, когда оно вращается среди инертных вещей, в этой новой сфере чувству-

ет себя несвободно. Очень трудно назвать хоть одно биологическое открытие, добытое чистым рассуждением. И чаще всего, когда опыт укажет нам, к какому способу прибегала жизнь, чтобы получить известный результат, мы видим, что именно это нам никогда бы и в голову не пришло.

И все же эволюционная философия без колебаний распространяет на явления жизни те способы объяснения, которые успешно применялись в области неорганизованной материи. Вначале она представила нам интеллект как локальное проявление эволюции, как проблеск – быть может, случайный, освещающий передвижения живых существ в узком проходе, открытом для их действия. И вдруг, забывая о том, что сообщила нам, она превращает этот слабый светильник, мерцающий в глубине подземелья, в Солнце, освещающее весь мир. Смело приступает она, при помощи одного лишь концептуального мышления, к идеальному воссозданию всего, даже жизни.

Правда, она наталкивается по пути на столь серьезные препятствия и замечает в выводах, полученных с помощью ее собственной логики, столь странные противоречия, что очень скоро ей приходится отказаться от своих первоначальных амбиций. Она уже заявляет, что воспроизводит не реальность, но лишь подражание реальности, или, вернее, ее символический образ: сущность вещей ускользает от нас и будет ускользать всегда; мы движемся среди отношений, абсолютное нам недоступно, мы должны остановиться пе-

ред Непознаваемым. Но поистине, после излишней гордости это уж чрезмерное самоуничтожение человеческого интеллекта. Если форма интеллекта живого существа отлилась мало-помалу по образцу взаимных действий и противодействий между определенными телами и окружающей их материальной средой, то почему же не может он сказать что-либо о самой сущности того, из чего созданы эти тела? Действие не может совершаться в нереальном. О духе, рожденном для умозрений или грез, можно было бы сказать, что он остается вне реальности, искажает ее и изменяет, – быть может, даже создает ее, как создаем мы фигуры людей и животных, выделяя их своим воображением в проплывающем облаке. Но интеллект, стремящийся к действию, которое должно быть выполнено, и к противодействию, которое должно последовать, интеллект, ощупывающий свой объект, чтобы ежеминутно получать о нем меняющееся впечатление, – соприкасается с чем-то абсолютным. И могло ли нам когда-нибудь прийти на ум подвергать сомнению эту абсолютную ценность нашего познания, если бы философия не показала нам, на какие противоречия наталкивается наше умозрение, в какие тупики оно заходит? Но эти трудности и противоречия проистекают из того, что мы применяем привычные формы нашей мысли к тем предметам, к которым неприменима наша практическая деятельность и для которых, следовательно, непригодны наши рамки. Интеллектуальное познание, поскольку оно касается известной стороны инертной материи, должно,

напротив, дать нам ее верный отпечаток, ибо само оно и отлито по этому особому предмету. Относительным оно становится лишь тогда, когда, оставаясь тем, что есть, хочет представить нам жизнь, то есть самого литейщика, создавшего отпечаток.

Следует ли из-за этого отказаться от углубления в природу жизни? Нужно ли придерживаться механистического представления, которое всегда дает нам наш рассудок, представления неизбежно искусственного и символического, ибо оно сводит целостную активность жизни к форме определенной человеческой деятельности, являющейся только частичным и локальным выражением жизни, только следствием жизненной работы, как бы ее осадком?

Это было бы необходимо, если бы все психические возможности жизни были направлены лишь на создание чистых рассудков, то есть если бы жизнь готовила только геометров. Но эволюционная линия, приводящая к человеку, не единственная. На других – расходящихся – путях развились иные формы сознания, которые не могли ни освободиться от внешних принуждений, ни одержать победы над собою, как сделал это человеческий интеллект, но которые тем не менее выражают нечто существенное в эволюционном движении и имманентное ему. Сближая эти формы сознания друг с другом, заставляя их затем слиться с интеллектом, не получим ли мы сознание, коэкстенсивное жизни и способное, повернувшись внезапно к жизненному напору, ощущаемо-

му им позади себя, достичь целостного, хотя, конечно, легко ускользающего видения его?

Могут сказать, что и таким путем мы не выйдем за границы интеллекта, ибо и иные формы сознания мы рассматриваем только с помощью нашего интеллекта, только сквозь призму нашего интеллекта. И в этих словах был бы резон, если бы мы были чистыми интеллектами, если бы вокруг нашей концептуальной логической мысли не оставалось смутной туманности, созданной из той самой субстанции, в ущерб которой образовалось светящееся ядро, называемое нами интеллектом. Здесь находятся известные силы, дополняющие рассудок, присутствие которых мы лишь смутно ощущаем, когда остаемся замкнутыми в самих себе; но они осветятся и выделятся, когда увидят себя, скажем так, за работой в эволюции природы. Они узнают тогда, какое усилие им предстоит сделать, чтобы стать интенсивнее и расширяться в одном направлении с жизнью.

Это значит, что теория познания и теория жизни представляются нам нераздельными. Теория жизни, не сопровождаемая исследованием познания, обязана принять без изменений понятия, предоставляемые разумом в ее распоряжение: волей-неволей она должна вкладывать факты в предсуществующие рамки, которые она рассматривает как окончательные. Она получает, таким образом, символизм, удобный, а быть может, даже необходимый для положительной науки, но у нее нет непосредственного видения своего пред-

мета. С другой стороны, теория познания, которая не перемещает интеллект в общий процесс эволюции жизни, не покажет нам ни того, как сложились рамки познания, ни того, как мы можем их расширить или преодолеть. Нужно, чтобы оба этих исследования – теория познания и теория жизни – соединили свои силы и в круговом движении толкали бы друг друга бесконечно.

Вдвоем, с помощью метода более верного, более близкого к опыту, они смогут решить великие проблемы, поставленные философией. Успешно справившись со своей задачей, они показали бы нам возникновение интеллекта, а тем самым генезис той материи, которую в общих ее очертаниях обрисовывает наш интеллект. Они докопались бы до самых корней природы и духа. Ложный эволюционизм Спенсера, состоящий в том, чтобы наличную реальность, находящуюся на известной ступени эволюции, разделить на кусочки, также прошедшие эволюцию, затем воссоздать ее из этих частей и таким образом принять заранее все то, что требует объяснения, – этот эволюционизм они заменили бы эволюционизмом истинным, наблюдающим за реальностью в ее зарождении и росте.

Но такого рода философия не может возникнуть в один день. В отличие от систем в собственном смысле слова, каждая из которых является творением какого-нибудь гения и предстает нам как нечто цельное, что мы можем принять или отвергнуть, эта философия может быть создана

лишь путем коллективных и последовательных усилий многих мыслителей, а также и многих наблюдателей, дополняющих, исправляющих, поддерживающих друг друга. Вот почему предлагаемый опыт не ставит себе целью разом решить величайшие проблемы. Его задача – только определить метод и показать в некоторых существенных пунктах возможность его применения.

План его намечен самим предметом. В первой главе мы примеряем на эволюционный процесс две готовые формы, два готовых одеяния, которыми располагает наш разум: механицизм и целесообразность¹. В развитии этой идеи мы не раз сходились с Дюнаном. Однако наши взгляды по этому вопросу, как и по проблемам, близким к нему, мы давно уже изложили в нашем «Опыте о непосредственных данных сознания» (Paris, 1889). Одной из главных задач этого «Опыта» было показать, что психологическая жизнь не есть ни единство, ни множественность, что она превосходит и механическое, и разумное, ибо механицизм и телеология имеют смысл только там, где есть «делимая множественность», «пространственность» и, следовательно, соединение предсуществующих частей: «реальная длительность» означает одновременно и неделимую непрерывность, и творчество. В настоящем труде мы применяем те же самые идеи

¹ Впрочем, идея, что жизнь превосходит собой целесообразность, равно как и механицизм, далеко не нова. Ее углубленное изложение можно найти, в частности, в трех статьях Дюнана «Проблема жизни» («Revue philosophique», 1892.

к жизни вообще, которая сама рассматривается с психологической точки зрения; мы показываем, что оба они не подходят, но одно из них могло бы быть перекроено, перешито и в новом виде сидело бы лучше, чем другое. Чтобы преодолеть точку зрения разума, мы пытаемся воссоздать во второй главе основные эволюционные линии, пройденные жизнью, наряду с той, которая привела к человеческому интеллекту. Интеллект, таким образом, перемещается в его производящую причину, которую нужно постичь в ней самой и наблюдать в ее собственном движении. Попытку такого рода – весьма неполную – мы предпримем в третьей главе. В четвертой, и последней, части мы хотим показать, каким образом сам наш разум, подчиняясь известной дисциплине, может подготовить философию, выходящую за его пределы. Для этого нам пришлось бросить беглый взгляд на историю систем, а вместе с тем проанализировать две иллюзии, в которые впадает человеческий разум, как только он начинает отвлеченно рассуждать о реальности вообще.

Глава первая. Об эволюции жизни – механицизм и целесообразность

Из всего того, что существует, нам наиболее достоверно и лучше всего известно, безусловно, наше собственное существование, ибо понятия, которые мы имеем о других предметах, можно считать внешними и поверхностными, тогда как самих себя мы постигаем изнутри и глубоко. Что же мы таким образом познаем? Каков точный смысл слова «существовать» в этом исключительном случае? Напомним кратко выводы предшествующей работы.

Прежде всего я сознаю, что перехожу от состояния к состоянию. Мне холодно или жарко, я весел или печален, я смотрю на то, что меня окружает, или думаю о другом. Ощущения, чувства, желания, представления – вот модификации, составляющие части нашего существования и поочередно его окрашивающие. Итак, я постоянно изменяюсь. Но это еще не все. Происходящее изменение гораздо глубже, чем казалось вначале.

В самом деле, о каждом из своих состояний я говорю как о чем-то цельном. Я говорю, что я меняюсь, но это изменение, на мой взгляд, есть переход от одного состояния к тому, что следует за ним; само же состояние, взятое отдельно,

представляется мне неизменным в течение того времени, когда оно существует. А между тем легчайшее усилие внимания открыло бы мне, что нет ни аффекта, ни представления, ни желания, которые не менялись бы ежеминутно; если бы состояние души перестало изменяться, то длительность прекратила бы свое течение.

Возьмем самое прочное из внутренних состояний — зрительное восприятие внешнего неподвижного предмета. Пусть предмет остается тем же самым, а я смотрю на него с одной и той же стороны, под тем же углом, в один и тот же день: все равно то, что я вижу сейчас, будет отличаться от того, что я видел только что, хотя бы уже тем, что оно стало на мгновение старше. Здесь присутствует моя память, которая и толкает что-то из прошлого в настоящее. Мое состояние души, продвигаясь по дороге времени, постоянно набухает длительностью, которую оно подбирает: оно как бы лепит из самого себя снежный ком. С тем большим основанием это можно сказать о более глубоких внутренних состояниях, об ощущениях, аффектах, желаниях и т. д., не относящихся к устойчивому внешнему предмету, как в случае простого зрительного восприятия. Но нам удобнее не обращать внимания на это непрерывное изменение; мы замечаем его лишь тогда, когда оно увеличится настолько, что придаст телу новое положение и направит внимание по новому пути. Именно в этот момент мы обнаруживаем, что состояние изменилось, изменение происходит непрерывно и само состо-

ание является уже изменением.

Это значит, что нет существенной разницы между переходом от одного состояния к другому и пребыванием в одном и том же состоянии. Если состояние, которое «остается тем же самым», более изменчиво, чем кажется, то, напротив, переход от одного состояния к другому более, чем мы полагаем, походит на одно и то же длящееся состояние: одно беспрестанно сменяется другим. Но именно потому, что мы закрываем глаза на непрерывное изменение каждого психологического состояния, мы и обязаны, – когда это изменение становится столь значительным, что привлекает наше внимание, – назвать его новым состоянием, появившимся рядом с предыдущим. Это новое состояние мы также считаем неизменным и т. д. до бесконечности. Представление о прерывности психологической жизни связано, следовательно, с тем, что наше внимание фиксирует эту жизнь в ряде отдельных актов: там, где есть лишь пологий склон, мы, следуя ломаной линии, которую образуют акты нашего внимания, видим ступени лестницы. Правда, наша психологическая жизнь полна непредвиденного. Всплывают тысячи случайных явлений, кажущихся оторванными от того, что им предшествовало, и не связанными с тем, что за ними следует. Но прерывность их появления становится заметной на непрерывном фоне, который их обрисовывает и которому они обязаны самими разделяющими их промежутками; это – удары литавр, раздающиеся время от времени в симфонии. Наше внимание

останавливается на них, ибо они больше его затрагивают, но каждое из них приносится текучей массой всего нашего психологического существования. Каждое из них – лишь наиболее освещенная точка в подвижной сфере, охватывающей все, что мы чувствуем, думаем, желаем, – словом, все, что мы собою представляем в данный момент. Эта сфера в целом и образует в действительности наше состояние. О состояниях же, которым дается такое определение, нельзя сказать, что они являются отдельными элементами: они продолжают-ся одни в других в бесконечном истечении.

Но так как наше внимание искусственно их разделило и различило, оно обязано и соединить их затем искусственной же связью. Оно придумывает, таким образом, аморфное, индифферентное, неизменное я, на него нанизываются или по нему скользят психологические состояния, возведенные в независимые сущности. Вместо текучести подвижных, переходящих друг в друга оттенков внимание замечает резкие и, так сказать, устойчивые цвета, которые рядопологаются, подобно разноцветным жемчужинам в ожерелье: тогда ему придется допустить и существование прочной нити, которая могла бы удерживать вместе эти жемчужины. Но если этот бесцветный субстрат беспрестанно окрашивается тем, что его покрывает, то в своей неопределенности он для нас как бы и не существует: ведь мы воспринимаем только окрашенное, то есть психологические состояния. По правде говоря, «субстрат» этот не является реальностью, это – простой

знак, служащий для того, чтобы постоянно напоминать нашему сознанию об искусственном характере той операции, путем которой внимание рядопологает различные состояния там, где разворачивается непрерывность. Если бы наша жизнь складывалась из отдельных состояний, синтезировать которые предстояло бы бесстрастному «я», то для нас не существовало бы длительности. Ибо «я», которое не меняется, не длится; и психологическое состояние, остающееся тождественным самому себе, пока не сменится следующим состоянием, – также не длится. Как бы мы ни выстраивали тогда эти состояния одно возле другого на поддерживающем их «я», никогда эти неизменные тела, нанизанные на неизменное, не составят текучей длительности. Таким путем мы получим лишь искусственное подражание внутренней жизни, статический эквивалент, лучше удовлетворяющий требованиям логики и языка именно потому, что из него исключается реальное время. А между тем, если мы обратимся к психологической жизни, разворачивающейся под покрывающими ее символами, то без труда заметим, что время и есть ее ткань.

К тому же не бывает ткани более прочной, более субстанциальной. Ведь наша длительность не является сменяющимися друг друга моментами: тогда постоянно существовало бы только настоящее, не было бы ни продолжения прошлого в настоящем, ни эволюции, ни конкретной длительности. Длительность – это непрерывное развитие прошлого,

вбирающего в себя будущее и разбухающего по мере движения вперед. Но если прошлое растет непрерывно, то оно и сохраняется бесконечно. Память, как мы пытались показать, не является способностью составлять перечень воспоминаний или раскладывать их по полочкам. Здесь нет ни перечня, ни полочек; здесь не существует даже, в собственном смысле слова, способности, ибо способность действует с перерывами, когда хочет или когда может, между тем как прошлое наслаивается на прошлое непрерывно. В действительности прошлое сохраняется само собою, автоматически. Без сомнения, в любой момент оно следует за нами целиком: все, что мы чувствовали, думали, желали со времен раннего детства, все это тут — все тяготеет к настоящему, готово к нему присоединиться, все напирает на дверь сознания, стремящегося его отстранить. Мозговой механизм для того и создан, чтобы оттеснять в бессознательное почти всю совокупность прошлого и вводить в сознание лишь то, что может осветить данную ситуацию, помочь готовящемуся действию — одним словом, привести к полезному труду. Лишь контрабандой удастся проникать в полуоткрытую дверь другим воспоминаниям, которые являются уже как бы роскошью. Посланники бессознательного, они осведомляют нас о том, что мы, сами того не зная, влачим за собой. Но, даже и не имея об этом ясного представления, мы все же смутно чувствуем, что наше прошлое нас не покидает. В самом деле, что мы собой представляем, что такое наш характер, ес-

ли не экстракт истории, прожитой нами с рождения, даже до рождения, ибо мы приносим с собою врожденные способности. Конечно, для мышления нам нужна лишь частица нашего прошлого, но желать, стремиться, действовать заставляет нас все наше прошлое, в том числе и прирожденные свойства нашей души. Таким образом, своим напором наше прошлое – как тенденция – дает нам о себе знать все целиком, хотя лишь незначительная часть его становится представлением.

Из этого сохранения прошлого вытекает невозможность для сознания дважды пройти через одно и то же состояние. Пусть обстоятельства будут теми же, но действуют они уже не на ту же самую личность, ибо они застают ее в новый момент ее истории. Наша личность, строящаяся в каждое мгновение из накопленного опыта, постоянно меняется. Изменяясь, она не дает возможности тому или иному состоянию когда-либо повториться в глубине, даже если оно на поверхности и тождественно самому себе. Вот почему наша длительность необратима. Мы не смогли бы вновь пережить ни одной ее частицы, ибо для этого прежде всего нужно было бы стереть воспоминание обо всем, что последовало затем. Самое большее, мы могли бы вычеркнуть это воспоминание из нашего интеллекта, но не из нашей воли.

Таким образом, наша личность поднимается, растет, зреет постоянно. Каждый момент прибавляет нечто новое к тому, что было раньше. Более того, это не только новое, но

и непредвиденное. Конечно, мое теперешнее состояние может быть объяснено тем, что до того во мне существовало и действовало на меня. Анализируя его, я не найду в нем иных элементов. Но даже сверхчеловеческий интеллект не смог бы предвидеть ту простую неделимую форму, которая сообщает этим абстрактным элементам их конкретную организацию. Ведь предвидеть – значит проецировать в будущее то, что было воспринято в прошлом, или представлять себе в дальнейшем новое соединение, в ином порядке, уже воспринятых элементов. То же, что не разлагается на элементы и что никогда не было воспринято, по необходимости является непредвидимым. А таковым и будет каждое из наших состояний, рассматриваемое как момент развертывающейся истории: оно является простым и не могло быть когда-либо воспринятым, ибо соединяет в своей неделимости и воспринятое прежде, и то, что прибавляет настоящее. Это – оригинальный момент не менее оригинальной истории.

Вот готовый портрет. Он находит свое объяснение в модели, в характере художника, в красках, нанесенных на палитру. Но, обладая знанием всего, что дает ему объяснение, никто, даже сам художник, не мог бы точно предсказать, чем будет этот портрет, ибо предсказать это – значило бы создать его прежде, чем он был создан: нелепая, сама себя разрушающая гипотеза. Так и с моментами нашей жизни, строителями которых мы являемся. Каждый из них есть род творческого акта. И подобно тому, как талант художника развива-

ется или деформируется, во всяком случае, изменяется, под влиянием самих создаваемых им произведений, так и каждое наше состояние, исходя от нас, в то же время меняет нашу личность, ибо является новой, только что принятой нами формой. С полным основанием можно сказать: то, что мы делаем, зависит от того, что мы суть: но следует прибавить, что, в известной мере мы суть то, что мы делаем и что мы творим себя непрерывно. Это самосозидание является вдобавок тем более полным, чем лучше мы умеем размышлять о том, что делаем. Ведь разум действует здесь не так, как в геометрии, где безличные предпосылки даны раз навсегда и из них само собою вытекает безличное заключение. Здесь, наоборот, одни и те же причины могут побудить различных людей или одного и того же человека в разные моменты к совершенно различным, хоть и одинаково разумным поступкам. В сущности, это не вполне одинаковые причины, так как они относятся не к одной и той же личности и не к одному и тому же моменту. Вот почему нельзя ни действовать на эти причины *in abstracto*, извне, как в геометрии, ни решать за других проблемы, которые ставит перед ними жизнь. Каждый решает их по-своему, внутри себя. Но мы не можем углубляться в этот вопрос. Мы только ищем точный смысл, какой придает наше сознание слову «существовать», и мы находим, что для сознательного существа это значит изменяться; изменяться – значит созревать, созревать же – это бесконечно созидать самого себя. Можно ли сказать то же

самое о существовании вообще?

Материальный предмет, взятый наудачу, являет свойства, обратные только что указанным. Он либо остается тем, что есть, либо, если и меняется под влиянием внешней силы, то мы представляем себе это изменение как перемещение частей, остающихся при этом неизменными. Если бы в них проявилось изменение, мы также разделили бы их. Таким образом мы будем спускаться до молекул, части которых даются готовыми, до атомов, составляющих молекулы, до мельчайших частиц, образующих атомы, до «невесомого», в недрах которого путем простого вращения могла бы возникнуть такая частица. Словом, мы пойдем в нашем делении или анализе так далеко, как потребуется. Но перед нами будет всегда лишь неизменное.

Пойдем далее. Мы говорим, что сложный по составу предмет меняется таким образом, что части его перемещаются. Но если одна часть покинула свое место, то ничто не мешает ей занять его снова. Значит, группа элементов, прошедших через какое-либо состояние, всегда может в него возвратиться, если не сама собою, то под действием какой-нибудь внешней причины, ставящей все на свои места. Это означает, что известное состояние группы элементов может повторяться сколько угодно и что, следовательно, группа не стареет. У нее нет истории.

Итак, ничто здесь не создается – ни форма, ни материя. То, чем станет группа, заложено уже в том, чем она являет-

ся теперь, если только включать в то, что она есть, все точки Вселенной, с которыми ее считают связанной. Сверхчеловеческий интеллект мог бы вычислить для любого момента времени положение любой точки системы в пространстве. И так как форма целого есть лишь расположение его частей, то будущие формы системы теоретически могут быть видимы уже в ее теперешнем очертании.

Вся наша вера в предметы, все наши операции с системами, которые выделяет наука, основаны на той идее, что время над ними бессильно. Мы коснулись этого вопроса в предыдущей работе и вернемся к нему в данном исследовании. Сейчас же ограничимся замечанием, что абстрактное время, приписываемое наукой материальному предмету или изолированной системе, состоит только из определенного числа одновременностей, или, в более общем плане, соответствий, и число это остается одним и тем же, каковы бы ни были по своей природе интервалы, разделяющие эти соответствия. Когда речь идет о неорганизованной материи, не возникает вопроса об этих интервалах, если же на них останавливаются, то лишь для того, чтобы подсчитывать в них новые соответствия, между которыми опять-таки может совершаться все, что угодно. Здравый смысл, имеющий дело только с отдельными предметами, как и наука, рассматривающая только изолированные системы, — размещаются на границах интервалов, а не в них самих. Вот почему можно предположить, что временной поток приобрел бесконечную

быстроту, что все прошлое, настоящее и будущее материальных предметов или изолированных систем разом развернулось в пространстве: при таком предположении ничего не пришлось бы менять ни в формулах ученых, ни даже в обычном языке. Число t всегда обозначало бы одно и то же. Оно продолжало бы включать одно и то же число соответствий между состояниями предметов или систем и точками на полностью прочерченной линии, которая и была бы теперь «течением времени».

А между тем последовательность – факт неоспоримый, даже в материальном мире. Рассуждая об отдельных системах, мы можем сколько угодно предполагать, что прошлая, настоящая и будущая история каждой из них может быть развернута сразу, подобно вееру: но история эта все же будет разворачиваться постепенно, как будто ее длительность была аналогична нашей. Если я хочу приготовить себе стакан подслащенной воды, то, что бы я ни делал, мне придется ждать, пока сахар растает. Этот незначительный факт очень поучителен. Ибо время, которое я трачу на ожидание, – уже не то математическое время, которое могло бы быть приложено ко всей истории материального мира, если бы она вдруг развернулась в пространстве. Оно совпадает с моим нетерпением, то есть с известной частью моей длительности, которую нельзя произвольно удлинить или сократить. Это уже не область мысли, но область переживания. Это уже не отношение; это принадлежит к абсолютному. Что это может озна-

чать, как не то, что стакан воды, сахар и процесс растворения сахара в воде являются только абстракциями и что Целое, из которого они были выделены моими чувствами и моим разумом, развивается, быть может, тем же способом, что и сознание.

Конечно, операция, путем которой наука изолирует и обособляет какую-нибудь систему, не является совершенно искусственной. Не будь здесь объективного основания, нельзя было бы объяснить, почему она вполне уместна в одних случаях и невозможна в других. Мы увидим, что материя имеет тенденцию создавать изолируемые системы, которые могут рассматриваться геометрически. Эта тенденция и послужит нам при определении материи. Но это – не более чем тенденция. Материя не идет до конца, и изолирование никогда не бывает полным. Если же наука доходит до конца и изолирует что-либо полностью, то она делает это для удобства исследования. Она осознает, что всякая изолированная система остается подчиненной известным внешним влияниям. Но она оставляет их в стороне – потому ли, что находит их настолько слабыми, что ими можно пренебречь, или потому, что предполагает обратиться к ним позже. И все же именно эти влияния являются нитями, связывающими одну систему с другой, более обширной, а ее – с третьей, охватывающей две первые, и так далее, вплоть до системы наиболее изолированной и наиболее независимой, то есть до Солнечной системы в целом. Но и здесь изолированность не

абсолютна. Наше Солнце излучает свет и тепло за пределы самых отдаленных планет. С другой стороны, Солнце вместе с увлекаемыми им планетами и их спутниками движется в определенном направлении. Конечно, нить, связывающая его с остальной Вселенной, очень тонка. И, однако, именно по ней даже мельчайшим частицам того мира, в котором мы живем, передается длительность, присущая Вселенной как целому.

Вселенная длится. Чем глубже мы постигнем природу времени, тем яснее поймем, что длительность есть изобретение, создание форм, непрерывная разработка абсолютно нового. Системы, разграниченные наукой, длятся лишь потому, что они неразрывно связаны с остальной Вселенной. Правда, в самой Вселенной, как мы увидим дальше, нужно различать два противоположных действия – «нисхождение» и «восхождение». Первое только разворачивает заготовленный свиток. Оно могло бы в принципе совершиться почти мгновенно, как это бывает с распрямляющейся пружиной. Но второе, соответствующее внутренней работе созревания и творчества, длится потому, что в этом и состоит его сущность, и оно налагает свой ритм на первое, неотделимое от него.

Ничто, таким образом, не мешает нам приписывать длительность, а следовательно, и форму существования, аналогичную нашей, изолируемым наукой системам, если вновь ввести их в Целое, куда они и должны быть введены. То же

самое можно сказать, а *fortiori*, и о предметах, выделяемых нашим восприятием. Четкие контуры, приписываемые нами какому-нибудь предмету и придающие ему индивидуальность, очерчивают лишь известного рода влияние, которое мы могли бы оказать на данную точку пространства: это план наших возможных действий, отражаемый, словно в зеркале, в наших глазах, когда мы замечаем поверхности и грани вещей. Уберите это действие, а следовательно, и широкие пути, прокладываемые им с помощью восприятия в переплетениях реальности, – и индивидуальность предмета поглотится всеобщим взаимодействием, которое и есть сама реальность.

Мы рассматривали материальные предметы, взятые наугад. Но не существует ли предметов особого рода? Мы сказали, что неорганизованные тела выкраиваются из ткани природы восприятием, ножницы которого как бы следуют пунктиру линий, определяющих возможный захват действия. Но тело, которое совершит это действие, которое, прежде чем выполнить реальные действия, проецирует уже на материю контуры действий возможных, которому достаточно только направить свои органы чувств на поток реального, чтобы кристаллизовать его в определенные формы и создавать таким образом другие тела, – словом, живое тело, – подобно ли оно другим телам?

Конечно, и в нем также есть часть протяженности, связанная с остальной протяженностью, солидарная с Целым, подчиненная тем же физическим и химическим законам, ко-

которые управляют любой частью материи. Но если деление материи на изолированные тела зависит от нашего восприятия, а организация замкнутых систем материальных точек – от нашей науки, то живое тело было изолировано и замкнуто самой природой. Оно состоит из разнородных частей, дополняющих друг друга. Оно выполняет различные функции, связанные друг с другом.

Это – индивидуум, и ни о каком ином предмете, даже о кристалле, этого сказать нельзя, ибо у кристалла нет ни разнородности частей, ни различия функций. Конечно, даже в организованном мире нелегко определить, что является индивидуумом, а что – нет. Затруднения значительны уже в отношении животного мира; они становятся почти непреодолимыми, если обратиться к миру растительному. На причинах, корнящихся очень глубоко, мы остановимся далее. Мы увидим, что индивидуальность допускает бесконечное число степеней и что нигде, даже у человека, она не реализована полностью. Но это не дает оснований не признавать в ней характерного свойства жизни. Биолог, прибегающий к приемам геометра, одержал бы слишком легкую победу над нашей неспособностью дать точное и общее определение индивидуальности. Точное определение может быть дано только completed реальности; жизненные же свойства никогда не бывают полностью реализованными; они всегда – лишь на пути к реализации: это не столько состояния, сколько стремления. Но стремление может достичь всего того, на что оно

направлено, лишь тогда, когда оно не сталкивается ни с каким иным стремлением. Как возможно это в области жизни, где, как мы покажем, всегда существует взаимопереплетение противоположных стремлений? Обращаясь, в частности, к индивидуальности, можно сказать, что если стремление к индивидуализации присуще всему организованному миру, то оно повсюду же сталкивается со стремлением к воспроизведению. В случае завершённой индивидуальности ни одна частица, отделившаяся от организма, не смогла бы жить самостоятельно. Но тогда размножение стало бы невозможным. В самом деле, что такое размножение, если не воссоздание нового организма из части, отделившейся от старого? Таким образом, индивидуализация даёт приют собственно своему врагу. Её потребность продолжаться во времени обрекает её на ограниченность в пространстве. Биолог обязан в каждом случае принимать в расчёт оба стремления. А потому бесполезно добиваться от него такого определения индивидуальности, которое, будучи сформулированным раз и навсегда, стало бы применяться автоматически.

Но слишком часто о явлениях жизни рассуждают так же, как о свойствах неорганизованной материи. Нигде это смешение так не очевидно, как в спорах об индивидуальности. Нам указывают на червя *Lumbriculus*, каждая часть которого регенерирует собственную голову и живёт как самостоятельный индивид, или на гидру, части которой становятся новыми гидрами, или на яйцо морского ежа, из кусочков которо-

го развиваются полные зародыши: где же, спрашивают нас, индивидуальность яйца, гидры, червя? Но из того, что сейчас существуют несколько индивидуальностей, не следует, что прежде не могло быть одной индивидуальности. Я признаю, что при виде нескольких ящиков, выпадающих из какого-нибудь шкафа, я не вправе сказать, что этот шкаф был сделан из одного цельного куска. Но дело в том, что настоящее этого шкафа не может заключать в себе больше, чем прошлое, и если теперь он состоит из нескольких разнородных кусков, то таковым он был и со времени его изготовления. Вообще говоря, неорганизованные тела, в которых мы нуждаемся, чтобы действовать, и по которым мы сформировали наш способ мышления, подчиняются такому простому закону: «настоящее не содержит ничего сверх того, что было в прошлом, и то, что обнаруживается в действии, уже было в причине». Но предположим, что отличительной чертой организованного тела являются рост и беспрестанное изменение, — о чем и свидетельствует, впрочем, самое поверхностное наблюдение, — и ничего удивительного не будет в том, что вначале было одно, а потом — несколько. Размножение одноклеточных организмов и состоит в том, что живое существо делится на две половины, каждая из которых является целостным индивидуумом. Правда, у более сложных животных способность воспроизведения целого локализована в клетках, называемых половыми и являющихся почти независимыми. Но кое-что от этой способности, как показывают

факты регенерации, может быть рассеяно в остальной части организма, и можно допустить, что в исключительных случаях она целиком существует во всем организме в скрытом состоянии и проявляется при первой возможности. Я вправе говорить об индивидуальности не только лишь тогда, когда организм не может делиться на жизнеспособные фрагменты. Достаточно, чтобы этот организм перед делением представлял известную систематизацию частей и чтобы в отделившихся частях сохранилось стремление к той же систематизации. Именно это и наблюдается в организованном мире. Таким образом, можно сделать заключение, что индивидуальность никогда не бывает завершенной и зачастую трудно, а иногда и невозможно сказать, что такое индивид, а что им не является; но жизнь тем не менее ищет путей к индивидуальности и стремится создать системы, естественным образом изолированные, естественным образом замкнутые.

Этим живое существо отличается от всего, что наше восприятие и наша наука изолируют и обособляют искусственным путем. Вот почему неправомерно было бы сравнивать его с предметом. Если бы мы пожелали сравнить его с чем-нибудь из неорганизованного мира, то скорее можно было бы провести параллель не с каким-то определенным материальным предметом, а с материальной Вселенной в целом. Правда, это сравнение не принесло бы особой пользы, ибо живое существо может быть объектом наблюдения, тогда как Вселенная как Целое строится и перестраивается мышлени-

ем. Но все же внимание было бы в этом случае направлено на существенные черты организации. Как Вселенная в ее целостности, как каждое сознательное существо, взятое отдельно, – живой организм есть нечто такое, что длится. Его прошлое целиком продолжается в настоящем, присутствует и действует в нем. Можно ли иначе понять, что организм проходит через вполне определенные фазы, что возраст его меняется, – словом, что он имеет историю? Если я рассматриваю, к примеру, свое тело, то вижу, что, подобно моему сознанию, оно постепенно, от детства к старости, созревает; как и я, оно стареет. Зрелость и старость являются, собственно говоря, лишь свойствами моего тела, и только метафорически я даю то же название соответствующим изменениям моей сознательной личности. Если я спущусь теперь по лестнице живых существ, если я перейду от одного из наиболее дифференцированных к одному из наименее дифференцированных, от многоклеточного организма человека к одноклеточной инфузории, я и в этой простой клетке обнаружу тот же процесс старения. После известного числа делений инфузория истощает свои силы, для восстановления которых необходимо соединение. И хотя, изменяя среду, мы можем отдалить этот момент, все же его нельзя отдалять до бесконечности.

Правда, между этими двумя крайними случаями, когда организм совершенно обособлен, встречается множество других с менее выраженной индивидуальностью, где старе-

ние хотя и заметно, но трудно было бы в точности определить, что же именно стареет. Повторяю, нет универсального биологического закона, который мог бы без изменений, автоматически прилагаться ко всякому живому существу. Есть только направления, которые жизнь придает видам вообще. Каждый отдельный вид самым актом своей организации утверждает свою независимость, следует своему капризу, более или менее уклоняется в сторону, иногда даже возвращается назад и как бы поворачивается спиной к первоначальному направлению. Нетрудно было бы показать, что дерево не стареет, ибо его концевые ветви всегда одинаково молоды, всегда способны производить из черенков новые деревья. Но и в подобном организме, представляющем собою скорее общество, чем индивида, есть то, что стареет; стареют листья, стареет внутренность ствола; и каждая клеточка, рассматриваемая отдельно, определенным образом эволюционирует. Повсюду, где что-нибудь живет, всегда найдется раскрытый реестр, в котором время ведет свою запись.

Нам скажут, что это только метафора. Действительно, механицизму свойственно считать метафорическим всякое выражение, которое приписывает времени действенность и подлинную реальность. Пусть непосредственное наблюдение показывает нам, что сама основа нашего сознательного существования есть память, то есть продолжение прошлого в настоящем, или иначе — действенная и необратимая длительность. Пусть рассуждение нам доказывает, что, чем бо-

лее мы порываем с ясно очерченными предметами и системами, изолируемыми здравым смыслом и наукой, тем ближе мы к реальности, которая может изменяться лишь во всей ее внутренней целостности, как будто бы память, эта собирательница прошлого, сделала для нее невозможным возвращение назад. Механистический инстинкт ума сильнее рассуждения, сильнее непосредственного наблюдения. У метафизика, без нашего ведома живущего в каждом из нас и присутствие которого объясняется, как мы увидим далее, самим местом, занимаемым человеком среди живых существ, есть свои определенные требования, готовые объяснения, несокрушимые положения: все они сводятся к отрицанию конкретной длительности. Нужно, чтобы изменение ограничивалось размещением или перемещением частей, чтобы необратимость времени была видимостью, проистекающей от нашего незнания, а невозможность возврата назад – лишь проявлением неспособности человека ставить вещи на свои места. Тогда старение становится последовательным приобретением или постепенной утратой известных веществ, либо тем и другим вместе. Время имеет тогда ровно столько же реальности для живого существа, как и для песочных часов, где верхний резервуар опорожняется одновременно с наполнением нижнего и где, переворачивая аппарат, можно вновь расставить все по местам.

Правда, нет согласия по вопросу о том, что приобретается и что теряется в интервале между днем рождения

и днем смерти. Некоторые признают, что от рождения клетки вплоть до ее смерти происходит непрерывное увеличение объема протоплазмы. Более правдоподобной и более основательной является теория, которая связывает уменьшение с количеством питательных веществ, заключенных во «внутренней среде», где совершается обновление организма, увеличение же — с количеством невыделенных отложений, которые, скапливаясь в организме, в конце концов «образуют кору». Нужно ли тем не менее вместе со знаменитым микробиологом признать недостаточным всякое объяснение старения, не принимающее в расчет фагоцитоз? Мы не беремся решить этот вопрос. Но когда две теории согласны признать постоянное накопление или постоянную утрату известного рода материи и в то же время не могут прийти к согласию в определении того, что же именно приобретается и что теряется, то очевидно, что рамки объяснения устанавливаются ими *a priori*. Это еще более прояснится в ходе нашего дальнейшего исследования: нелегко избавиться от образа песочных часов, когда думаешь о времени.

Причина старения должна быть более глубокой. Мы признаем, что существует непрерывная преемственность между развитием зародыша и развитием полного организма. Тот импульс, под действием которого живое существо растет, развивается и стареет, заставил его пройти и через фазы эмбриональной жизни. Развитие зародыша — это постоянное изменение формы. Тот, кто пожелал бы отметить все

ее последовательные проявления, затерялся бы в бесконечном, как бывает, когда речь идет о непрерывности. Жизнь есть продолжение этой эволюции, начавшейся до рождения. Доказательством служит то, что часто невозможно сказать, имеешь ли дело с организмом, который стареет, или с зародышем, продолжающим развиваться: так бывает, например, с личинками насекомых или ракообразных. С другой стороны, такие критические периоды в жизни нашего организма, как половая зрелость или климакс, влекущие за собой полное перерождение индивида, вполне могут быть приравнены к переменам, совершающимся в течение жизни личинки или зародыша; однако они составляют неотъемлемый момент процесса старения. Хотя они происходят в определенном возрасте и могут продолжаться очень недолго, никто не будет утверждать, что они являются *ex abrupto*, извне, потому лишь, что пришло время, как призыв на военную службу настигает того, кому исполнилось 20 лет. Ясно, что такая перемена, как половая зрелость, подготавливается ежеминутно, начиная с самого рождения и даже до рождения, и старение живого существа до этого кризиса и состоит, по крайней мере отчасти, в такой постепенной подготовке. Короче говоря, собственно жизненным является в старении именно это незаметное, бесконечное изменение формы. Несомненно, его сопровождают к тому же и явления органического разрушения. Их-то и имеет в виду механистическое объяснение старения. Оно отмечает явления склероза, постепенное

накопление отложений, растущую гипертрофию клеточной протоплазмы. Но под этими внешними следствиями скрыта внутренняя причина. Эволюция живого существа, как и зародыша, включает непрерывную запись длительности, внедрение прошлого в настоящее и, следовательно, по меньшей мере вероятность органической памяти.

Данное состояние неорганизованного тела зависит исключительно от того, что происходило в предыдущий момент. Положение материальных точек какой-нибудь изолированной наукой системы определяется положением тех же самых точек в момент, непосредственно предшествовавший. Другими словами, законы, управляющие неорганизованной материей, могут быть в принципе выражены дифференциальными уравнениями, в которых время (в том смысле, в каком берет его математик) играет роль независимой переменной. Таковы ли законы жизни? Находит ли живое тело свое полное объяснение в непосредственно предшествовавшем состоянии? Да, если *a priori* условиться уподоблять живой организм другим телам природы и отождествлять его, когда это требуется, с искусственными системами, которыми оперируют химик, физик и астроном. Но в астрономии, в физике и химии это положение имеет вполне определенный смысл: оно означает, что известные стороны настоящего, важные для науки, исчисляемы, как функция ближайшего прошлого. Ничего подобного не существует в области жизни. Счету здесь подвластны лишь известные явления ор-

ганического разрушения. Но мы не можем даже представить себе, как возможно подвергать математическим операциям органическое творчество, эволюционные явления, составляющие жизнь в собственном смысле этого слова. Нам могут сказать, что эта невозможность связана лишь с нашим невежеством. Но она может служить и показателем того, что для живого тела данный момент не обуславливается непосредственно предшествующим, что нужно прибавить сюда все прошлое этого организма, его наследственность, словом, всю очень длинную его историю. В действительности вторая из этих двух гипотез и выражает теперешнее состояние биологических наук и даже их направление. Идея же о том, что какой-нибудь счетчик со сверхчеловеческим умом мог бы подвергнуть живой организм такому же математическому исследованию, как и Солнечную систему, коренится в известном рода метафизике, которая со времен физических открытий Галилея приняла лишь более определенную форму, но которая всегда была, как мы покажем далее, естественной метафизикой человеческого ума. Ее видимая ясность, наше страстное желание считать ее верной, готовность, с которой ее принимают без доказательств столько блестящих умов, — словом, все соблазны ее для нашей мысли должны были бы заставить нас отнестись к ней с осторожностью. Ее привлекательность для нас в достаточной мере доказывает, что она дает удовлетворение некоей врожденной склонности. Но, как будет видно далее, ставшие сейчас уже врожденными интел-

лектуальные тенденции, которые жизнь должна была создать в ходе своей эволюции, сотворены вовсе не для того, чтобы давать нам объяснение жизни.

Эти интеллектуальные тенденции и являются тем препятствием, с которым мы сталкиваемся, когда хотим отличить искусственную систему от естественной, мертвое от живого. Из-за них одинаково трудно думать, что организованное длится и что неорганизованное не длится. Как, скажут нам, разве, утверждая, что состояние искусственной системы зависит исключительно от ее состояния в предшествующий момент, вы не прибегаете тем самым ко времени, не вводите эту систему в длительность? И, с другой стороны, разве это прошлое, которое, как вы утверждаете, тесно связано с данным моментом живого существа, не сжимается органической памятью все целиком в момент, непосредственно предшествующий, который, таким образом, и становится единственной причиной настоящего состояния? – Говорить так значит не понимать основного различия между конкретным временем, в котором развивается реальная система, и временем абстрактным, которое привходит в наши рассуждения об искусственных системах. Что мы имеем в виду, когда говорим, что состояние искусственной системы зависит от того, чем она была в непосредственно предшествовавший момент? Нет и не может быть момента, непосредственно предшествующего данному, как не может быть математической точки, смежной с другой математической точкой. Мо-

мент, «непосредственно предшествующий», в действительности есть момент, связанный с данным моментом интервалом dt . Таким образом, мы лишь хотим сказать, что настоящее состояние системы определяется уравнениями, в которые входят дифференциальные коэффициенты, такие как de/dt , dv/dt , то есть, в сущности, скорости данного момента и ускорения данного момента. Следовательно, речь идет только о настоящем, которое, правда, берется с его тенденцией. И фактически системы, с которыми имеет дело наука, всегда существуют в мгновенном, постоянно возобновляющемся настоящем, а не в реальной конкретной длительности, где прошлое неотделимо от настоящего. Когда математик вычисляет будущее состояние какой-нибудь системы к концу известного периода времени t , ничто не мешает ему предположить, что с данного момента материальная Вселенная исчезает, чтобы внезапно появиться вновь. Он принимает во внимание только последний момент периода времени t , то есть нечто такое, что будет в полном смысле слова моментальным снимком. То, что будет совершаться в интервале, то есть реальное время, не принимается во внимание и не может войти в расчеты. Если математик заявляет, что имеет дело с этим интервалом, то он перемещается всегда в определенную точку и в определенный момент, то есть в конечный момент времени t , и тогда нет больше речи об интервале до t . Если он делит интервал на бесконечно малые части в соответствии с дифференциалом dt , то он тем самым

просто показывает, что рассматривает ускорения и скорости, то есть числа, отмечающие тенденции и позволяющие рассчитывать состояния системы в данный момент; но речь всегда идет о данном моменте, то есть о моменте застывшем, а не о времени, которое течет. Короче говоря, мир, с которым имеет дело математик, есть мир умирающий и возрождающийся каждое мгновение, тот мир, о котором думал Декарт, говоря о непрерывном творении. Но как возможно в подобном времени представить себе эволюцию, то есть то, что характеризует жизнь? Эволюция предполагает реальное продолжение прошлого в настоящем, предполагает длительность, которая является связующей нитью. Другими словами, познание живого существа, или естественной системы, есть познание, направленное на сам интервал длительности, тогда как познание системы искусственной, или математической, направлено только на ее конечный момент.

Непрерывная изменчивость, сохранение прошлого в настоящем, истинная длительность, – вот, по-видимому, свойства живого существа, общие со свойствами сознания. Нельзя ли пойти дальше и сказать, что жизнь, подобно сознательной деятельности, есть изобретение и тоже представляет собой творчество?

В нашу задачу не входит перечисление доказательств трансформизма. Мы хотим лишь в двух словах объяснить, почему в данной работе принимаем его как достаточно точное и верное толкование общеизвестных фактов.

Идея трансформизма в начальной форме содержится уже в естественной классификации живых организмов. В самом деле, натуралист сближает друг с другом сходные организмы, затем делит группу на подгруппы, внутри которых сходство еще большее, и так далее: на протяжении всей этой операции групповые признаки являются как бы общими темами, собственные вариации на которые разыгрывает каждая из подгрупп. Такое же точно отношение мы находим в животном и растительном мире между тем, что рождает, и тем, что рождается: на канву, которую предок передает своим потомкам и которой они владеют сообща, каждый наносит свой особый узор. Правда, различия между предком и потомком незначительны, и потому возникает вопрос, может ли одна и та же живая материя быть настолько пластичной, чтобы последовательно облекать столь различные формы, как формы рыбы, пресмыкающегося и птицы. Но на этот вопрос наблюдение отвечает вполне определенным образом. Оно показывает нам, что до известного периода развития зародыш птицы едва можно отличить от зародыша пресмыкающегося и что индивид на протяжении эмбриональной жизни проходит вообще через ряд превращений, подобных тем, путем которых, согласно эволюционной теории, совершается переход от одного вида к другому. Одна клетка, полученная из комбинации двух – мужской и женской, – осуществляет этот процесс путем деления. Ежедневно на наших глазах наивысшие формы жизни исходят из формы очень элементарной.

Опыт, таким образом, показывает, что самое сложное могло выйти путем эволюции из самого простого. Но вышло ли оно из него в действительности? Палеонтология, несмотря на недостаточность ее данных, заставляет нас верить в это, ибо там, где она, с той или иной степенью точности, обнаруживает порядок в последовательности видов, этот порядок именно таков, какой предполагается данными эмбриологии и сравнительной анатомии, и каждое новое палеонтологическое открытие приносит трансформизму новое подтверждение. Так, доказательство, почерпнутое из простого и ясного наблюдения, всегда находит себе подкрепление, тогда как, с другой стороны, опыт поочередно устраняет возражения. Например, недавние опыты де Фриза, показавшие, что важные изменения могут происходить внезапно и передаваться регулярно, устраняют некоторые из самых серьезных затруднений, воздвигнутых теорией. Они позволяют нам значительно сократить то время, которое казалось необходимым для биологической эволюции. Они также заставляют нас предъявлять меньшие требования к палеонтологии. Таким образом, в итоге гипотеза трансформизма предстает как по крайней мере приблизительное выражение истины. Она не может быть строго доказана; но ниже области достоверности, которую дает теоретическое или экспериментальное доказательство, существует бесконечно возрастающая вероятность, заменяющая собой очевидность и стремящаяся к ней как к своему пределу; такой род вероятности и представляет

трансформизм.

Допустим, однако, что трансформизм изобличен в заблуждении. Предположим, что путем рассуждения или опыта удалось установить, что виды возникли в прерывистом процессе, о котором мы теперь не имеем никакого понятия. Была ли бы этим опровергнута доктрина трансформизма в той ее части, которая наиболее интересна и важна для нас? Классификация, в общих чертах, без сомнения, осталась бы. Остались бы и данные современной эмбриологии. Сохранилось бы соответствие между сравнительной эмбриологией и сравнительной анатомией. В таком случае биология могла бы и должна бы была по-прежнему устанавливать между живыми формами то же родство, те же отношения, какие предполагает теперь трансформизм. Правда, речь бы шла о родстве идеальном, а не о материальной родственной связи. Но так как современные данные палеонтологии также существовали бы, то нужно было бы еще допустить, что формы, между которыми обнаруживается идеальное родство, появились последовательно, а не одновременно. Однако эволюционная теория в ее важнейшей для философа части большего и не требует. Суть ее состоит главным образом в констатации отношений идеального родства и в утверждении, что там, где существует отношение, так сказать, логической связи между формами, есть также и отношение хронологической последовательности между видами, в которых материализуются эти формы. Этот двойной тезис в любом случае сохраня-

ется. И тогда следовало бы предположить эволюцию еще где-нибудь – либо в творческой Мысли, где идеи различных видов порождали бы друг друга точь-в-точь так, как, согласно трансформизму, одни виды порождают другие на Земле, либо в присущем природе и постепенно проявляющемся плане жизненной организации, где отношения логической и хронологической связи между чистыми формами были бы совершенно такими же, какие представляет нам трансформизм в виде отношений реальной связи между живыми индивидами, либо, наконец, в какой-нибудь неизвестной причине жизни, которая разворачивает свои следствия так, как будто бы одни из них порождали другие. Таким образом, эволюцию просто переместили бы, перенеся из видимого в невидимое. Сохранилось бы почти все, что утверждает сегодня трансформизм, хотя и с правом иного толкования. Не лучше ли в таком случае придерживаться трансформизма в том виде, в каком его почти единодушно признают ученые? Если не задаваться вопросом, в какой мере этот эволюционизм описывает факты, а в какой – является символизацией, то в нем не окажется ничего несовместимого с доктринами, которые предполагается им заменить, даже с учением об отдельных актах творения, которому он обычно противопоставляется. Вот почему мы думаем, что язык трансформизма становится теперь обязательным для всякой философии, как утверждение его постулатов становится обязательным для науки.

Но в таком случае нельзя уже будет говорить о жизни

вообще как об абстракции или о простой рубрике, в которую вписываются все живые существа. В известный момент, в известной точке пространства зародилось конкретное течение: это течение жизни, проходя через организуемые им одни за другими тела, переходя от поколения к поколению, разделялось между видами и рассеивалось между индивидами, ничего не теряя в силе, скорее наращивая интенсивность по мере движения вперед. Известно, что, согласно теории «непрерывности зародышевой плазмы», поддерживаемой Вейсманом, половые элементы организма-производителя непосредственно передают свои особенности половым элементам рождающегося организма. В этой крайней форме теория показалась спорной, ибо лишь в исключительных случаях можно заметить очертание половых желез с момента деления оплодотворенной яйцеклетки. Но если производительные клетки половых элементов и не появляются обычно с самого начала жизни эмбриона, тем не менее они всегда формируются за счет тех зародышевых тканей, которые не подверглись еще никакой специальной функциональной дифференциации и клетки которых создаются из неизменившейся протоплазмы. Другими словами, производящая сила оплодотворенной яйцеклетки ослабляется по мере распределения по растущей массе зародышевых тканей; но в то время как она таким образом растворяется, часть ее концентрируется заново в известном пункте, а именно в клетках, из которых должны произойти яйцеклетки или сперматозо-

иды. Можно, следовательно, сказать, что если не существует непрерывности зародышевой плазмы, то существует тем не менее непрерывность производительной энергии, которая расходуется лишь за несколько мгновений, когда дается импульс эмбриональной жизни, с тем чтобы как можно скорее пополниться в новых половых элементах, где она вновь будет ждать своего часа. Рассматриваемая с этой точки зрения жизнь предстает как поток, идущий от зародыша к зародышу при посредстве развитого организма. Все происходит так, как если бы сам организм был только наростом, почкой, которую выпускает старый зародыш, стремясь продолжиться в новом. Самое главное состоит в непрерывности прогресса, продолжающегося бесконечно, прогресса невидимого, до которого возвышается каждый видимый организм в короткий промежуток времени, отпущенный ему для жизни.

Но чем больше фиксируешь внимание на этой непрерывности жизни, тем больше замечаешь, что органическая эволюция приближается к эволюции сознания, где прошлое напирало на настоящее и выдавливает из него новую форму, несоизмеримую с предшествующими. Никто не будет оспаривать, что появление растительного или животного вида вызвано определенными причинами. Но под этим нужно понимать только то, что если бы мы задним числом узнали эти причины во всех деталях, то с их помощью смогли бы объяснить новую форму; однако не может быть и речи о том,

чтобы предвидеть новую форму². Могут сказать, что ее предвидение было бы возможным, если бы мы знали во всех подробностях условия, при которых она возникла. Но условия эти тесно с нею связаны и даже составляют с ней единое целое, характеризуя данный момент в истории жизни; как же можно считать заранее известной ситуацию, единственную в своем роде, которая еще никогда не существовала и никогда больше не повторится? Можно предвидеть из будущего только то, что имеет сходство с прошлым или может быть составлено из элементов, подобных элементам прошлого. Таковы факты астрономические, физические, химические, все факты, входящие в какую-либо систему, где элементы, рассматриваемые как неподвижные, просто рядопологаются, где изменяется лишь положение, где не будет теоретически абсурдным представить себе, что вещи возвращаются на свои места, где, следовательно, одно и то же целостное явление или, по крайней мере, одни и те же элементы явления могут повторяться. Но как можно себе представить, что оригинальная ситуация, сообщающая нечто от этой оригинальности своим элементам, то есть отдельным снимкам, сделанным с нее, могла быть дана прежде, чем появилась?³ Можно только сказать, что, появившись однажды, она находит свое

² Необратимость ряда живых существ хорошо показал Болдуин (Development and evolution, New York, 1902, особенно p. 327).

³ Мы подчеркнули это в «Essai sur les donnees immediate de la conscience», p. 140–151.

объяснение в тех элементах, которые теперь открывает в ней анализ. Но то, что верно в отношении создания нового вида, верно также и в отношении создания нового индивида и вообще для любого момента любой живой формы. Ибо, если для появления нового вида нужно, чтобы изменение достигло определенной величины и общности, то незаметно, непрерывно оно совершается в любой момент в каждом живом существе. И те внезапные мутации, о которых нам сегодня говорят, становятся возможными лишь тогда, когда завершилась уже инкубационная работа, или, вернее, работа созреваия, в ряду поколений, по видимости, не изменявшихся. В этом смысле о жизни, как и о сознании, можно сказать, что она ежеминутно что-нибудь творит⁴.

Но против этой идеи абсолютной оригинальности и непредвидимости форм восстает весь наш интеллект. Существенной функцией интеллекта, каким сформировала его эволюция жизни, является освещение нашего поведения,

⁴ В своей прекрасной книге «Гений в искусстве» Сеай развивает двойной тезис о том, что искусство продолжает природу, а жизнь есть творчество. Мы охотно принимаем второе положение. Но следует ли понимать под творчеством синтез элементов, как это делает автор? Там, где элементы предсуществуют, потенциально есть *уже* и *их* синтез как одна из допустимых комбинаций этих элементов: какой-нибудь сверхчеловеческий интеллект мог бы заранее усмотреть эту комбинацию среди всех других. Мы, напротив, считаем, что в области жизни элементы не имеют реального и раздельного существования. Это – множественность точек зрения разума на единый неделимый процесс. Потому-то в прогрессе и существует полная случайность, несоизмеримость *между* предшествующим и последующим, – словом, длительность.

подготовка нашего воздействия на вещи, предвидение событий, благоприятных или неблагоприятных для данного положения. Поэтому он инстинктивно выделяет в ситуации все сходное с тем, что уже известно; он ищет подобное, чтобы иметь возможность применить свой принцип: «подобное производит подобное». В этом состоит предвидение будущего здравым смыслом. Наука возводит эту операцию на возможно более высокий уровень точности и определенности, но она не изменяет ее существенных особенностей. Как и обыденное познание, наука сохраняет лишь одну сторону вещей: повторение. Если целое оригинально, наука устраивается таким образом, чтобы анализировать те его элементы или стороны, которые почти воспроизводят прошлое. Она может оперировать только тем, что считается повторяющимся, то есть, предположительно, избегает действия длительности. От нее ускользает все нередуцируемое и необратимое в последовательных моментах истории. Чтобы представить себе эту нередуцируемость и необратимость, нужно порвать с научными привычками, отвечающими существенным требованиям мысли, нужно совершить насилие над разумом, пойти против естественных склонностей интеллекта. Но в этом и заключается роль философии.

Вот почему, хотя жизнь развивается на наших глазах как непрерывное созидание непредвидимой формы, всегда сохраняется идея о том, что форма, непредвидимость и непрерывность являются только внешними представлениями, от-

ражающими недостаточность наших знаний. То, что предстает вашим чувствам как непрерывная история, могло бы быть разложено, говорят нам, на последовательные состояния. То, что кажется вам оригинальным состоянием, распадается при анализе на элементарные факты, каждый из которых является повторением факта известного. То, что вы называете непредвидимой формой, всего лишь новое сочетание прежних элементов. Элементарные причины, совокупность которых обусловила это сочетание, сами являются прежними причинами, располагающимися при повторении в новом порядке. Знание элементов и элементарных причин позволило бы заранее изобразить живую форму, являющуюся их суммой и результатом. Разложив биологическую сторону явлений на факторы физико-химические, мы сможем, если потребуется, перепрыгнуть и через физику и химию: мы пойдем от масс к молекулам, от молекул к атомам, от атомов к корпускулам и придем, наконец, к чему-то такому, что может рассматриваться как род Солнечной системы, астрономически. Если вы отрицаете это, то вы оспариваете сам принцип научного механицизма, и ваше утверждение, что живая материя не создана из тех же элементов, что и другая материя, является произвольным. – Мы ответим, что не оспариваем фундаментального тождества между материей неорганизованной и организованной. Спрашивается только, следует ли уподоблять естественные системы, называемые нами живыми существами, системам искусственным, выкра-

иваемым наукой из неорганизованной материи? Не должны ли мы сравнивать их скорее с той естественной системой, какой является Вселенная как целое? Я вполне согласен с тем, что жизнь есть своего рода механизм. Но есть ли это механизм частей, искусственно выделяемых во Вселенной как целое, или это механизм реального целого? Реальное целое вполне может быть, как мы сказали, неделимой непрерывностью: тогда системы, выделяемые нами из этого целого, уже не будут частями в собственном смысле слова – они будут отдельными точками зрения на целое. И, сопоставляя эти точки зрения, вы не сможете даже начать восстанавливать целое, подобно тому, как, умножая число фотографий какого-нибудь предмета в разных ракурсах, вы никогда не получите этого предмета в его материальности. То же самое можно сказать о жизни и о физико-химических явлениях, на которые, как полагают, возможно ее разложить. Конечно, анализ вскрыет в процессах органического творчества возрастающее число физико-химических явлений. На это и опираются химики и физики. Но отсюда еще не следует, что химия и физика должны дать нам ключ к жизни.

Мельчайшая часть кривой представляет собой почти прямую линию. И чем она меньше, тем более она походит на прямую. В пределе будет уже безразлично, называть ли ее частью прямой или частью кривой. В каждой из своих точек кривая действительно сливается с касательной. Так и «жизненность» в любой из своих точек является касательной фи-

зических и химических сил; но эти точки, в сущности, — лишь точки зрения разума, который представляет себе остановки в те или иные моменты движения, образующего кривую. В действительности жизнь состоит из физико-химических элементов не в большей мере, чем кривая — из прямых линий.

Вообще говоря, самый радикальный прогресс какой-нибудь науки может состоять только в том, чтобы ввести полученные уже результаты в новое целое, по отношению к которому они становятся неподвижными и мгновенными снимками с непрерывности движения, делаемыми время от времени. Таково, к примеру, отношение современной геометрии к геометрии древних. Последняя, в полном смысле слова статическая, оперировала фигурами, однажды очерченными; современная геометрия изучает изменения функции, то есть непрерывность движения, описывающего фигуру. Можно, конечно, для большей строгости исключить из наших математических приемов всякое рассмотрение движения; но тем не менее введение движения в генезис фигур лежит в основе современной математики. Мы полагаем, что, если бы биология смогла когда-нибудь так же близко подойти к своему предмету, как математика подошла к своему, она стала бы по отношению к физико-химии организованных тел тем же, чем современная математика — по отношению к античной. Чисто поверхностные перемещения масс и молекул, изучаемые физикой и химией, стали бы по отношению к жизнен-

ному движению, совершающемуся в глубине и представляющему собой уже преобразование, а не перемещение, тем же, чем является остановка движущегося тела по отношению к его движению в пространстве. И – как мы можем предугадать, – прием, приводящий от определения известного жизненного акта к системе физико-химических явлений, предполагаемых этим актом, был бы аналогичен той операции, путем которой переходят от функции к ее производной, от уравнения кривой (то есть от закона непрерывного движения, порождающего кривую) к уравнению касательной, дающей направление этой кривой в тот или иной момент ее движения. Подобная наука была бы механикой преобразования, по отношению к которой наша механика перемещения стала бы частным случаем, упрощением, проекцией в план чистого количества. И подобно тому, как существует бесконечность функций с одним и тем же дифференциалом, различающихся между собою постоянной величиной, так, быть может, интеграция физико-химических элементов собственно жизненного акта обусловила бы этот акт лишь отчасти: все прочее было бы предоставлено неопределенности. Но мы можем только лишь мечтать о подобной интеграции; мы не утверждаем, что мечта станет когда-нибудь действительностью. Мы хотели только, развивая возможно дальше это сравнение, показать, в чем наш тезис сближается с чистым механицизмом и в чем он отличен от него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.